



## Д. В. ФИЛОСОФОВ

### Завтрашнее мещанство \*

Ах, если бы живые крылья  
Души, парящей над толпой,  
Ее спасали от насилья  
Бессмертной пошлости людской!

*Тютчев<sup>1</sup>*

Как художественное произведение, «Дачники» М. Горького просто не существуют. Они вне литературы. Детская беспомощность техники, полное непонимание условий сцены, наивное подражание Чехову, и притом не в его силе, а в его слабости, все это вместе лишает «Дачников» всякого литературного значения. И пусть нам не говорят, что Горький выдумал какие-то новые приемы, что протесты, слышавшиеся на первом представлении его пьесы, объясняются рискованностью некоторых положений в комедии, рискованностью, которая пугает нашу «буржуазную» публику<sup>2</sup>. Это все неправда. Никакой новизны и рискованности здесь нет. Горький ни минуты не шел против вкусов публики, он, наоборот, с каким-то подобострастием, старался потакать им, и вся его пьеса рассчитана на широкий успех. Публика обожает теперь всякие действия без действия, ей нравится, когда люди сидят часами на сцене и считают мух, и все это она находит в необъятном количестве в новой пьесе Горького. Когда молодой Влас (положительный тип) объяснялся в любви престарелой г-же Врач (другой положительный тип), зрители смеялись, и наши «передовые» критики были этим возмущены. Они увидели здесь лицемерие публики. Какой вздор: любовь Федры к пасынку (у Еврипида), или Леонардо к

\* Первое представление «Дачников» Максима Горького на театре В. Ф. Комиссаржевской в СПб.

сестре («Мертвый город» д'Аннунцио) не вызывает ни в ком ни смеха, ни лицемерного порицания, а воркования г-жи Врач (что за нелепое остроумничанье кроется в этой фамилии) с молодым Власом смешны, потому что до комизма нехудожественны.

Нехудожественность содержания пьесы дополняется еще ее варварским языком. Тургенев, умирая, завещал нам любить наш родной язык, уважать это богатство русского народа. Но что с ним сделал Горький? В других своих пьесах, особенно в «На дне», автор сумел обогатить русскую речь, внести в нее некоторые новые обороты, эпитеты, образы. В «Дачниках» же он опустился до стиля мелкой прессы. Даже г. Двоеточие (тоже остроумная фамилия) и Влас, люди, имеющие связь с народом, и те проявляют какую-то бесцветность и беспомощность речи.

Все эти недостатки настолько бросаются в глаза, кроме того, пьеса настолько скучна, что даже те, которые имеют мужество защищать «Дачников» и видят в них новое слово борьбы с мещанством — вынуждены признать, по крайней мере, техническое их несовершенство как драматического представления.

Сила новой драмы, говорят такие защитники, не в литературности и художественности ее, а в ее глубоком общественном значении. Это произведение не литератора, а публициста, осмеивающего нашу пошлую quasi\*-интеллигенцию, и призывающего общество готовиться к встрече грядущего «человека», к встрече нового, зарождающегося класса, преисполненного силы, свободы и жизни.

Такая вера в Горького, как в публициста, мне кажется величайшим заблуждением, и, если с точки зрения эстетической, последние его произведения заслуживают лишь добродушной усмешки, то с точки зрения общественной — они явление скорей отрицательное и с ними надо бороться. Явление отрицательное потому, что слишком дискредитируют ту великую идею, которой бессознательно служит и Горький.

В Горьком — большая сила, но мало того, он сам опирается на большую силу. Это человек выдающегося дарования, который пришел из низов общества, претерпев жестокие мучения и великие оскорбления. Он еще не забыл своих страданий и, даст Бог, никогда не забудет, потому что главный нерв его художественного творчества — именно гнев сильного, но угнетенного человека.

Горький — это сплошной протест, вызов обществу, вызов гордого человека, презирающего власть сытой буржуазной тол-

\* полу (лат.). — Ред.

пы. И пока Горький протестует, отрицает — ему нельзя не почувствовать. Отрицание у него самое непосредственное, подлинное, и зачастую оно воплощается ярко и художественно. Но едва Горький переходит к утверждению — талант ему изменяет, мысли его путаются, и начинается нечто донельзя грубое и мещанское.

Как творец положительных общественных типов, Горький не уходит дальше идеалов благополучия. Он действует во имя интересов обиженного класса, и в этом его сила, его правда, его историческая заслуга. Но ведь не в голом же факте торжества известного класса дело? Всякий торжествующий класс по необходимости носит в себе зачатки самодовольства, и только тогда кастовая психология исчезает, если в торжествующем классе заложены идеалы общечеловеческие и религиозные, разрывающие узкие социологические границы и венчающие здание исторического процесса.

Ясно ощутив в себе жажду свободы, и пробуждая ее в других, Горький естественно должен был задуматься и над тем, как утолить эту жажду. Протестуя против царящей кругом несправедливости, он не мог не искать тех рычагов, при помощи которых можно было бы сдвинуть закоряженное общество с его проторенной дороги и поставить его на новые пути правды и справедливости. Он инстинктивно почувствовал, что в скором времени на историческую арену должен выступить новый, четвертый класс общества, кроющийся в себе громадные, скованные силы, раскрепощению которых необходимо не только почувствовать, но и содействовать. Здесь сила Горького. Он всем своим существом связан с народной массой, находящейся в угнетении, но постепенно начинающей сознавать свое право на будущее. Он или яркими штрихами рисует то, недостойное человека существование, на которое обречены эти обиженные судьбой люди, в борьбе за жизнь почти потерявшие человеческий облик, или проникая в тайники их душ, ясно показывает, какие громадные стихийные силы заложены во всех этих босяках, силы, которые теперь или вовсе спят или действуют только разрушительно. Конечно, нового тут ничего нет. Но Горький сумел эти старые истины сказать по-новому, по-своему. Прежде всего без сентиментальности. В нем много романтизма, юношеской жажды разрушения и отрицания, но нет кислосладкой сентиментальности, добродетельного взгляда сверху вниз, которым грешили наши народники. Он смотрит на мир и на общество снизу вверх. Он стоит за «босяка» не только потому, что тот угнетен, а потому, что в нем есть сила. Горький не

задумывался о том, какая это сила, разрушительная или созидательная, ее содержание его не интересовало, он относился к ней чисто формально. Может быть, он несколько идеализировал своих босяков, но это грех уже не такой большой. Во всяком случае, он их любил, им верил. Он инстинктивно, всем своим существом чуял, что история — за обиженных, что и они скажут свое слово. Но какое слово — он не знал, да и не хотел знать. У сильных должно же быть свое сильное слово.

Первые вещи Горького производили большое впечатление. В них было много ненависти, но и много любви, чувствовался задор человека, преисполненного жизни, стихийная свобода романтика. Повевало морским, соленым ветром в удушливой атмосфере русского общества. Из мира угнетенных и слабых слышался звучный голос жаждущего жизни босяка. Все непричастные к этому миру интеллигенты почувствовали, что заботы лучшей части общества о малых сих могут перейти из области несколько отвлеченного благотворения — в самое реальное действие, что параллельно с возрастанием интенсивности в работе нашей интеллигенции, увеличивается и самосознание низших классов. Тот мало известный икс, о котором до Горького широкие круги общества имели лишь отвлеченное представление, оделся в плоть и в кровь и мощно заявил о своем существовании.

Отсюда понятно, почему наше общество встретило произведения Горького с таким энтузиазмом.

Мы можем себе представить, что испытывал Маркони, когда после долгих и безуспешных попыток получить при помощи изобретенного им беспроволочного телеграфа, ответ из Америки, через весь Атлантический океан, он, наконец, явственно увидал, что ему подают сигнал<sup>3</sup>. Правда, только короткий сигнал, но и это должно было преисполнить его чувством радости и самоудовлетворения. Его услышали, значит, можно и стоит работать дальше.

Нечто подобное испытывало и русское общество, читая Горького. Напомним, что на литературное поприще он выступил во второй половине девяностых годов, в эпоху расцвета русского марксизма, в те знаменательные годы, когда рабочее движение приняло особенно осязательные формы и стало серьезным социальным явлением.

Но вот Горький, наконец, переехал океан, из отвечающего сигналом, — стал вопрошающим, стал Маркони. И здесь начинается его провал. Из яркого сильного протестата — он становится самым заурядным интеллигентом, бессознательно сти-

хийное алкание какой-то правды — заменяется довольно-таки мелким идеалом торжества «человека» в кавычках, мещанская сентиментальность вливается широкой волной в его произведения. Стихийное беспокойное брожение, из которого может родиться нечто сильное и яркое, Горький старается насильно вдвинуть в рамки трезвого, благонамеренного и достаточно-таки благополучного позитивизма. Весь романтизм, весь трагизм исчез. Осталась трезвая, совсем не вдохновительная публицистика полуинтеллигента. В этом отношении «Человек» знаменует собой резкий поворот в творчестве Горького.

«Человек» — это квинтэссенция банальности, и вовсе не только с эстетической точки зрения. По своей форме это стихотворение в прозе ничтожно, но совершенно невинно. Редакции всех журналов переполнены подобными упражнениями начинающих писателей. Оно особенно некультурно и пошло по своему содержанию главным образом потому, что оно абсолютно не трагично. В нем нет никакой глубины, никаких загадок, никаких проблем. Все плоско, самодовольно и мало. В нем есть бесконечность, но нет вечности, есть проповедь прогресса, но нет самого прогресса, потому что нет абсолюта, достижение которого знаменовало бы собой завершение прогресса. Надо твердо помнить, что это не сверхчеловек, а просто Человек, правда, с большой буквы, но ничем существенно не отличающийся от окружающих его. Как генерал, он стоит выше и впереди других, но пути к генеральству никем не заказаны, и генералом может стать всякий офицер.

И вот этот генерал начинает кичиться, и зрелище такого бахвальства воистину нестерпимо. Мысли человека все доступно и подвластно, говорит этот Человек. Она создала из животного человека, она создала науки, ключи к загадкам мира, она же, вместе с Мечниковым, уничтожит смерть<sup>4</sup>.

Это самовосхваление человека поражает своей наивностью. Всякий подлинный позитивист прежде всего — агностик. Он понимает, что человеческому познанию положен известный предел, он знает, что есть великая область непознаваемого, в которую человек никогда не проникнет, хотя бы существовал без конца. Горький считает путь человеческой мысли бесконечным не потому, что человек по самой природе своей не может проникнуть в сущность бытия, в мир нуменальный, а потому, что слишком много человека окружает загадок и надо целую бесконечность времени, чтоб их разрешить.

Подлинный ученый, Дюбуа-Реймон<sup>5</sup>, преклонился перед семью мировыми загадками, недоступными человеческому раз-

решению. Спенсер все время ясно чувствовал то великое «непознаваемое», пред величием которого человек должен умолкнуть. Да иначе все истинно ученые позитивисты думать и не могут.

Но Горький с детской наивностью и непростительной легкостью не желает признавать что бы то ни было недоступное познанию. И если ему что-нибудь недоступно, то по необъятному количеству предложенных человеку загадок, а не по их необъятному качеству. Понятно, в какое безнадежное болото беспомощных противоречий впадает Горький со своим, страдающим манией величия, человеком.

Но, если все в человеке и все для человека, если человек действительно так умен, если мысль человека победит все загадки и разрешит все противоречия, то, значит, мы живем в лучшем из миров и протестовать совершенно незачем. Потихоньку надо мыслить, разрешать одну за одной все задачки, предложенные человеку колоссальным мировым учебником, один за одним срывать листы мирового кочана капусты, без всякой надежды дойти до... кочерыжки. Решил одну задачку, сорвал один листик и будь доволен. Завтра за эту работу примутся другие, и так до бесконечности. «Загадки, ожидающие человека, бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку (с большой буквы) нет конца пути!»

Но разве, несмотря на весь фейерверк этого стихотворения в прозе, на весь его банально-салонный блеск — этот пресловутый «Человек» не есть самый жалкий оппортунист, мирящийся с культом малых дел, и удовлетворяющийся тем, что ему удалось сорвать хоть один капустный листик? На все тревожные, неразрешимые человеческими усилиями запросы «Человек» Горького безмятежно отвечает: «Вырастешь, Саша, узнаешь!»<sup>6</sup>, а пока довольствуйся и молчи.

Далее, если пути человеческому нет конца, нет особожающего и все завершающего конца, нет страшного суда истории и человечества, то где же человеку черпать силы для действия, где ему искать смысла жизни? В каторжных тюрьмах заставляют заключенных перетаскивать кирпичи с одного места на другое. Бесцельная, бессмысленная работа дается людям для того, чтобы человек не бездельничал и не зазнавался. Такую притупляющую работу возлагает на человека с маленькой буквы и Человек с большой. Но если так, если человек обречен на то, чтобы бесконечно шествовать от одной загадки к другой, без всякой надежды на их разрешение, если, с другой стороны, все в человеке и все для человека, то не лучше ли отказаться от

мятежных порывов и, пользуясь тем, что до сих пор завоевано мыслящим человечеством, жить себе потихоньку, полегоньку, изо дня в день, самодовольно утешаясь, что умен человек и еще умнее будет! Ницше призывал к созиданию сверхчеловека, он готов был пожертвовать всем, чтобы воплотить этого сверхчеловека. Горькому, в сущности, жертв не надо. Прогресс существует, его отрицать нельзя. Мысль человеческая постепенно завоевывает себе все новые и новые области. Потихоньку, полегоньку, все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Бессознательный, психологически радикальный протест сильного, но лишенного сознания и культуры человека — обратился в мещанский оппортунизм, в проповедь малых дел на бесконечном пути к благополучию. Живая природная сила пошла на службу пошлости. Протест получил свое обоснование в самом жалком и мизерном «во имени». Наш величайший комик В. В. Стасов<sup>7</sup> сравнил как-то Горького с Байроном. Но Байрон боролся с Богом, он отрицал благополучие мира и всю ответственность за зло возлагал на Бога. Его мировоззрение было в корне пессимистично. Горький же самый добродушный оптимист. Возлагать ответственность на Бога ему не приходится, потому что Бога для него не существует. Есть социальные неурядицы, которые исчезнут, есть разные неприятности, вроде смерти, но и их победит человеческая мысль. Словом, перспективы самые радостные. Бесконечный прогресс, бесконечное усовершенствование человеческого комфорта. Что Стасов, а за ним и многие другие «*bourgeois de l'avenir*»\*, могли удовлетвориться столь мизерным идеалом — совершенно понятно. Но также понятно, что такая перспектива не может удовлетворить более передовую часть нашего общества.

Что «босяки» и босяческая психология отрицания и протеста удаются Горькому, — я говорил выше. Босьяк — это существо, отрицающее данный общественный уклад, это темперамент, не вмещающийся в рамки данного строя. Тот факт, что такие одаренные элементы общества остаются не у дел, что богатые силы их остаются неиспользованными, ясно показывает, что в «датском государстве не все благополучно». Положительные типы комедии Горького это сознают, и пытаются устранить это неблагополучие, но Боже, какими способами и какими средствами. Казалось бы, что эти мыслящие «Человеки», эти кающиеся, честные протестанты из интеллигенции, должны были принести новые радикальные средства для борьбы с

\* буржуазия грядущего (фр.). — *Ред.*

болезнью. Но, увы! кроме старых примочек и припарок, приправленных большим количеством маниловщины и сентиментальности, у них ничего нет. Казалось бы, марксизм нас должен был раз и навсегда научить тому, что в социологии нет места сентиментальности. Казалось бы, для человека, сознательно смотрящего вокруг, не может быть сомнения в том, что началось пробуждение скованных до сих пор сил, что пробуждение это достигается совместными усилиями железного закона истории и творческой бескорыстной деятельности лучших, внеклассовых, сил общества. Те, кто практически содействует этому освобождению скованных сил, делают дело, свидетельствующее об одушевляющей их великой нравственной силе, а с точки зрения целесообразности — нужное и исторически необходимое. Однако не следует забывать, что это освобождение скованных сил есть только уничтожение отрицания, но не утверждение, отрицание минуса, но не плюс. Освободить эти силы надо не только потому, что всякий внешний гнет несовместим с достоинством человека, но, главным образом потому, что силы эти нужны нам всем, всему человечеству, на некое последнее культурное строительство, на некую окончательную борьбу со злом, лежащим в мире. История нас учит, что самые великие исторические силы, на знамени которых были написаны священные права свободы, равенства и братства, вырождались в царство *juste milieu*\*, пошлого, беспардонного мещанства, и у нас нет никаких оснований не бояться, что вновь освобождающиеся силы не пойдут на компромиссы мещанского благополучия или на варварское разрушение. Этому должна помешать культурная часть того общества, которое отходит в историю. Она должна бережно донести до обетованной земли тот огонь, который искони горит в человечестве. Передать скрижали завета новому грядущему строю. «Нельзя, — говорит Герцен, — людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании. Есть для людей драгоценности, которыми они не поступятся и которые у них из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуты горячки и катаклизма. И кто не скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом

\* центристское болото, посредственность (*фр.*). — *Ред.*



и в отходящем не было много прекрасного, и что оно должно погибнуть вместе со старым кораблем!..» Положительные герои Горького об этом даже и не думают. Они с легкостью, нагишом и босиком идут навстречу новому строю, попутно жертвуя, по совету Марьи Львовны, свои капиталы на «какое-нибудь общественное дело» или на фонд народного просвещения. Но если в старом строе они кроме мещанства и пошлости ничего не увидели, то где же основания думать, что и в новом они увидят не то же самое? Ведь надо же откровенно сказать, что архичестная Марья Львовна, эта добродетельная героиня «Дачников», глупа, как гусыня, и что ей ни в новом, ни в старом строе абсолютно нечего делать. Надо подталкивать то, что падает, но заниматься бесконечными препирательствами с падающими, право, задача мало интересная. Вместе с тем Марья Львовна, Басова и Влас все время доказывают мертвецам, что они мертвецы, и, победив этих мертвецов, торжественно уходят, опершись на капиталиста, и вместе с аплодирующей публикой празднуют дешевую победу. В этой победе никакой цены нет, потому что здесь нет никакой серьезной борьбы, ни внутренней, ни внешней, никакой жертвы, никакого отречения от старого во имя нового. Просто глупые, некультурные люди, пребывавшие в течение нескольких лет в обществе каких-то невероятных троглодитов, наконец-то додумались до того, что от этих пошляков надо уйти. Разве здесь есть какой-нибудь подвиг? Аня, уходящая из «Вишневого сада» за студентом Трофимовым, совершает некий подвиг. Она отрекается от старого быта, преисполненного своей поэзии и прелести. Но отчего отрекаются положительные типы «Дачников»? Они просто уходят из невероятно смрадной клоаки, из которой неминуемо должен уйти всякий, у кого есть хоть какое-нибудь обоняние. Отказываясь от «Вишневого сада», от старого, имеющего свою обаятельность, дворянски-помещичьего уклада, Аня тем самым уже переходит в какой-то новый, другой быт, но уход с промозглой пакостной дачи, на которой эти положительные типы так долго пребывали только по собственной глупости, само по себе ничего не обозначает. Они могли перейти просто на более благоустроенную дачу, где живут не так по-свински, где читают не пошлейшие «Эдельвейсы», а подлинные стихи, где, словом, живут культурные люди, а не такие отщепенцы. Неужели же неясно, что эти мелкие, жалкие людишки, ушедшие из старой пошлости, неминуемо должны прийти к новой, потому что избежать новой пошлости может только тот, кто придет не духовно нищим, а с запасами культурных ценностей, вынесенных из

---

прошлого. Нельзя идти в неизвестные пустыни без ковчега завета!

У Горького в его ковчеге завета лежит «Человек» с большой буквы. С таким заветом далеко не уедешь и нет никакого сомнения, что бездарная, никуда не ведущая Марья Львовна, с необходимостью упрется в завтрашнюю пошлость.

Понятно, что «Дачники» не могли не произвести грустного впечатления. Жалко видеть, как непосредственное дарование никнет под напором хитрого черта пошлости, и отдает свое служение на то, чтобы унижить и обмещанить культурные идеалы русского общества.

Конечно, эти идеалы восторжествуют, и не Марья Львовна будет их осуществлять; вера в них не может поколебаться, несмотря на тягостное измельчание Горького. Но тем не менее выносить такие испытания нелегко.

1904

